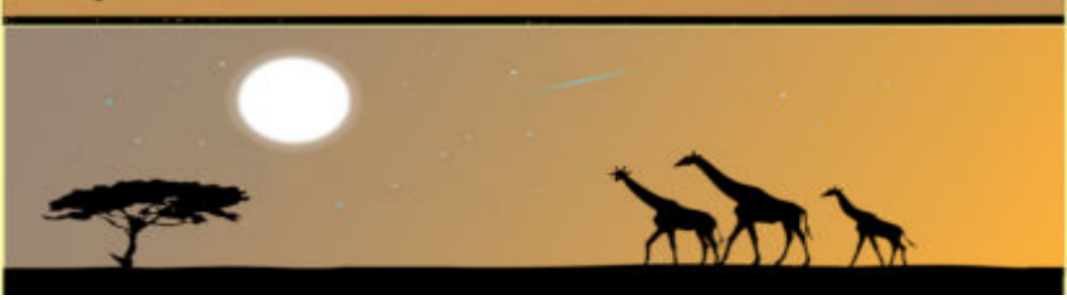
Николай Гумилёв

АФРИКАНСКИЙ ДНЕВНИК



SHOUT
SHARE
IT

Annotation

…недавно известный советский ученый-историк Лев Николаевич Гумилёв сообщил нам, что «Африканский дневник» его отца хранится у О. Н. Высотского, младшего сына поэта. По просьбе редакции Орест Николаевич передал дневник для публикации «Огоньку». Опубликовано в журнале «Огонёк» № 14–15 1987 год. Публикация О. Н. ВЫСОТСКОГО Комментарии В. ЕНИШЕРЛОВ

-
- Николай Гумилёв
- ГЛАВА ПЕРВАЯ
- ГЛАВА ВТОРАЯ
- ГЛАВА ТРЕТЬЯ
- ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5

* * *

«Я побывал в Абиссинии три раза, и в общей сложности я провел в этой стране почти два года. Я прожил три месяца в Хараре, где я бывал у раса (дэджача) Тафари, некогда губернатора этого города. Я жил также четыре месяца в столице Абиссинии, Аддис-Абебе, где познакомился со многими министрами и вождями и был представлен ко двору бывшего императора российским поверенным в делах в Абиссинии. Свое последнее путешествие я совершил в качестве руководителя экспедиции, посланной Российской Академией наук», — писал в «Записях об Абиссинии» Николай Степанович Гумилёв. Судьба дневника Гумилёва, в котором он описал свое третье путешествие в Африку, загадочна и интересна. Этнографические коллекции, привезенные Гумилёвым в Россию в 1913 году, давно и подробно описаны, известны и письма его из путешествия, в государственных архивах и частных собраниях хранится немало

материалов, связанных с африканскими приключениями, опубликованы стихи и рассказ «Африканская охота». Что же касается дневника, то он, казалось, исчез бесследно в бурях войн и революций.

Но недавно известный советский ученый-историк Лев Николаевич Гумилёв сообщил нам, что «Африканский дневник» его отца хранится у О. Н. Высотского, младшего сына поэта. По просьбе редакции Орест Николаевич передал дневник для публикации «Огоньку».

«Африканский дневник» Гумилёва находился ранее у его матери в усадьбе Слепнево, при переезде семьи в город Бежецк, как предполагает О. Н. Высотский, часть листов была потеряна. Сохранилась тетрадь объемом в 28 страниц, исписанная очень мелким почерком. Это, видимо, первая часть большой рукописи, посвященная путешествию по Абиссинии (так тогда именовалась Эфиопия), своеобразный «Африканский дневник». Возможно, будет найдена и другая часть дневника, которая несколько десятилетий назад была в поле зрения исследователей и о которой упоминает Анна Андреевна Ахматова. К современному владельцу дневник попал в 1951 году от сводной сестры Н. С. Гумилёва А. С. Сверчковой. В дневнике есть эпизод «Ловля акулы», опубликованный самим Гумилёвым в журнале «Нива» и вошедший в рассказ «Африканская охота». Об этом фрагменте Гумилёв писал Ахматовой из Джибути: «Мой дневник идет успешно, и я пишу его там, чтобы прямо можно было печатать. В Джидде с парохода поймали акулу: это было действительно зрелище. Оно заняло две страницы дневника». Так как в сохранившейся тетради есть именно эти две страницы, мы можем с уверенностью утверждать, что публикуем часть того самого «Африканского дневника» Гумилёва, который он не успел напечатать, вернувшись из экспедиции 1913 года.

Свое путешествие в Абиссинию Гумилёв описал в одном из лучших стихотворений — «Пятистопные ямбы», вошедшем в сборник «Колчан»:

Я помню ночь, как черную наяду,
В морях под знаком Южного Креста.
Я плыл на юг: могучих волн громаду
Взрывали мощно лопасти винта,
И встречные суда, очей отраду,
Брала почти мгновенно темнота.
……..
Но проходили месяцы, обратно
Я плыл и увозил клыки слонов,

Картины абиссинских мастеров,
Меха пантер — мне нравились их пятна —
И то, что прежде было непонятно,
Презренье к миру и усталость снов.

Можно только восхищаться любовью русского поэта, путешественника к великому континенту, его людям и культуре. Он трижды приходил в Африку как настоящий друг, исследователь-этнограф, а не как конквистадор-завоеватель. До сих пор, как недавно рассказала газета «Московские новости», в Эфиопии сохраняется добрая память о Н. Гумилёве. Африканские стихи Гумилёва, вошедшие в подготовленный им сборник «Шатер», и сухая точная проза дневника — дань его любви Африке. На первом издании сборника стихотворений «Шатер» было авторское посвящение: «Памяти моего товарища в африканских странствиях Николая Леонидовича Сверчкова».

Н. Л. Сверчков, племянник Гумилёва, после возвращения подготовил свои путевые дневники для публикации в издательстве З. Гржебина. Но во время революции рукопись исчезла.

В архиве О. Н. Высотского сохранилась уникальная запись сестры Н. Гумилёва А. С. Сверчковой об экспедиции, основанная на рассказах Н. Сверчкова:

«Это путешествие оба они описали в своих дневниках, которые, к сожалению, сохранились не полностью. Особенно жаль трудов Коли Маленького (так в семье звали Н. Л. Сверчкова, — В. Е.), который, будучи смертельно больным, все-таки описал очень подробно все приключения, случавшиеся с ними в стране Галла. Эту рукопись купил у него издатель, но во время революции и издатель, и рукопись с многочисленными снимками пропали.

Н. С. (Гумилёв. — В. Е.) и в дикой Африке никогда не терял присутствия духа. Так, рассказывал Коля Маленький, понадобилось им найти человека — проводника, знающего французский язык. Отцы-иезуиты прислали несколько молодых людей, но никто из них не пожелал идти в неизведанные места к дикарям. Нашелся один — Фасика, который даже знал несколько слов по-русски. Но вот беда: его не пускала тетка, и в то время, когда надо было выступать каравану, прислала людей, чтобы его увести. Начался спор. Фасику тянули вправо, тянули влево, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы вдруг не появился какой-то абиссинец, размахивавший палочкой над головой. Н. С., долго не думая, вырвал у него из рук палочку и замахнулся на него. „Что вы, что вы, — закричал Фасика, — ведь это же судья!“

Все кончилось вполне благополучно, судья, рассмотрев бумаги, разрешил взять переводчика и даже подарил Н. С. свою палочку, знак своего могущества, после чего все отправились к тетке Фасики, где засиделись до заката солнца. Как везде в тропических странах, сразу же спустилась страшная темнота. Возвращались в лагерь при свете факелов, и Коля М. вдруг обнаружил, что Н. С. где-то отстал. Как найти его в непроницаемой тьме среди зарослей, когда кругом слышно рычание зверей и хохот гиен? Оказалось, что он устал, сел отдохнуть и нечаянно заснул.

В другой раз подошли к реке Уэби. Вместо моста была устроена переправа таким образом: на одном берегу и на противоположном были 2 дерева, между ними был протянут канат, на котором висела корзина. В нее могли поместиться 3 человека и, перебирая канат руками, двигать корзину к берегу. Н. С. очень понравилось такое оригинальное устройство. Заметив, что деревья подгнили или корни расшатались, он начал раскачивать корзину, рискуя ежеминутно упасть в реку, кишащую крокодилами. Действительно, едва они вылезли из корзины, как одно дерево упало и канат оборвался.

В пути караван Н. С. встретился с двумя абиссинцами, которые шли к Гусейну, чтобы он помог им отыскать пропавшего мула. Н. С. заинтересовался и повел караван к жилищу пророка. По дороге туземцы рассказали ему много чудесного: как святой превратил неприятельское войско в камни, как гора перешла вслед за святым со старого места на новое и т. д. Гусейн принял европейцев с почетом, остался доволен поднесенными подарками, позволил им все осмотреть, но приказал зорко следить, чтобы они ничего не взяли, ни одного камушка, ни одной тряпочки. Для испытания греховности человека служили два больших камня, между которыми был узкий проход. Надо было раздеться догола и пролезть между камнями. Если кто застревал, он умирал в страшных мучениях, и никто не смел протянуть ему руки, никто не смел подать ему кусок хлеба или чашку воды. В этом месте валялось немало черепов и костей. Как ни отговаривал дядю Коля Маленький, он все-таки рискнул сделать опыт — пролезть между камнями. Коля Маленький говорил, что он боялся за дядю, как никогда в жизни. Это уже не смелость, а какое-то безрассудство! Все кончилось благополучно, и Коля Маленький поспешил увести караван подальше, пока дядюшка не выдумает еще каком-нибудь опыт».

В будущем издании сочинений Н. С. Гумилёва, несомненно, займут свое место и его проза, и «Африканский дневник», печатающийся в «Огоньке» впервые.

В. ЕНИШЕРЛОВ

Николай Гумилёв
Африканский дневник

Употребление в тексте современной транскрипции собственных имен и географических названий специально не оговаривается.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Однажды в декабре 1912 г. я находился в одном из тех прелестных, заставленных книгами уголков Петербургского университета, где студенты, магистранты, а иногда и профессора пьют чай, слегка подтрунивая над специальностью друг друга. Я ждал известного египтолога, которому принес в подарок вывезенный мной из предыдущей поездки абиссинский складень: деву Марию с младенцем на одной половине и святого с отрубленной ногой на другой. В этом маленьком собраньи мой складень имел посредственный успех: классик говорил о его антихудожественности, исследователь Ренессанса о европейском влияньи, обесценивающем его, этнограф о преимуществе искусства сибирских инородцев. Гораздо больше интересовались моим путешествием, задавая обычные в таких случаях вопросы: много ли там львов, очень ли опасны гиены, как поступают путешественники в случае нападения абиссинцев. И как я ни уверял, что львов надо искать неделями, что гиены трусливее зайцев, что абиссинцы страшные законники и никогда ни на кого не нападают, я видел, что мне почти не верят. Разрушать легенды оказалось труднее, чем их создавать.

В конце разговора профессор Ж. спросил, был ли уже с рассказом о моем путешествии в Академии наук. Я сразу представил себе это громадное белое здание с внутренними дворами, лестницами, переулками, целую крепость, охраняющую официальную науку от внешнего мира; служителей с галунами, допытывающихся, кого именно я хочу видеть; и, наконец, холодное лицо дежурного секретаря, объявляющего мне, что Академия не интересуется частными работами, что у Академии есть свои исследователи, и тому подобные обескураживающие фразы. Кроме того, как литератор я привык смотреть на академиков, как на своих исконных врагов. Часть этих соображений, конечно, в смягченной форме я и высказал профессору Ж. Однако не прошло и получаса, как с рекомендательным письмом в руках я оказался на витой каменной лестнице перед дверью в приемную одного из вершителей академических судеб.

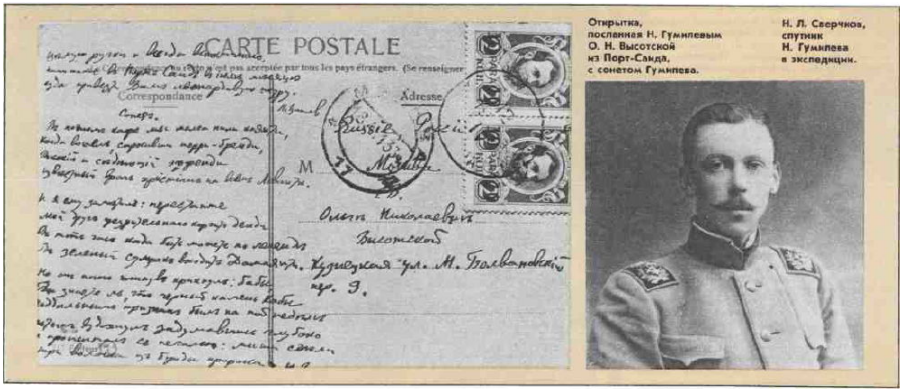
С тех пор прошло пять месяцев. За это время я много бывал и на внутренних лестницах, и в просторных, заставленных еще не разобранными коллекциями кабинетах, на чердаках и в подвалах музеев этого большого белого здания над Невой. Я встречал ученых, точно только что соскочивших со страниц романа Жюль Верна, и таких, что с восторженным блеском глаз говорят о тлях и

кокцидах, и таких, чья мечта добыть шкуру красной дикой собаки, водящейся в центральной Африке, и таких, что, подобно Бодлеру, готовы поверить в подлинную божественность маленьких идолов из дерева и слоновой кости. И почти везде прием, оказанный мне, поражал своей простотой и сердечностью. Принцы официальной науки оказались, как настоящие принцы, доброжелательными и благосклонными.

У меня есть мечта, живучая при всей трудности ее выполнения. Пройти с юга на север Данакильскую пустыню, лежащую между Абиссинией и Красным морем, исследовать нижнее течение реки Гаваша, узнать рассеянные там неизвестные загадочные племена. Номинально они находятся под властью абиссинского правительства, фактически свободны. И так как все они принадлежат к одному племени данакилей, довольно способному, хотя очень свирепому, их можно объединить и, найдя выход к морю, цивилизовать или, по крайней мере, арабизировать. В семье народов прибавится еще один сочлен. А выход к морю есть. Это — Рагейта, маленький независимый султанат, к северу от Обока. Один русский искатель приключений — в России их не меньше, чем где бы то ни было — совсем было приобрел его для русского правительства. Но наше министерство иностранных дел ему отказало.

Этот мой маршрут не был принят Академией. Он стоил слишком дорого. Я примирился с отказом и представил другой маршрут, принятый после некоторых обсуждений Музеем антропологии и этнографии при императорской Академии наук.

Я должен был отправиться в порт Джибути в Баб-эль-Мандебском проливе, оттуда по железной дороге к Харару, потом, составив караван, на юг в область, лежащую между Сомалийским полуостровом и озерами Рудольфа, Маргариты, Звай; захватить возможно больший район исследования; делать снимки, собирать этнографические коллекции, записывать песни и легенды. Кроме того, мне предоставлялось право собирать зоологические коллекции. Я просил о разрешении взять с собой помощника, и мой выбор остановился на моем родственнике Н. Л. Сверчкове, молодом человеке, любящем охоту и естественные науки. Он отличался настолько покладистым характером, что уже из-за одного желания сохранить мир пошел бы на всевозможные лишения и опасности.



**** Открытка, посланная Н. Гумилёвым О. Н. Высотской из Порт-Саида с сонетом Гумилёва.***

**** Н. Л. Сверчков, спутник Н. Гумилёва в экспедиции.***

Приготовления к путешествию заняли месяц упорного труда. Надо было достать палатку, ружья, седла, вьюки, удостоверения, рекомендательные письма и пр. и пр.

Я так измучился, что накануне отъезда весь день лежал в жару. Право, приготовления к путешествию труднее самого путешествия.

7-го апреля мы выехали из Петербурга, 9-го утром были в Одессе.

Странное впечатление производит на северянина Одесса. Словно какой-нибудь заграничный город, русифицированный усердным администратором. Огромные кафе, наполненные подозрительно-изящными коммивояжерами. Вечернее гуляние по Дерибасовской, напоминающей в это время парижский бульвар Сен-Мишель. И говор, специфически-одесский говор, с измененными удареньями, с неверным употребленьем падежей, с какими-то новыми и противными словечками. Кажется, что в этом говоре яснее всего сказывается психология Одессы, ее детски-наивная вера во всемогущество хитрости, ее экстатическая жажда успеха. В типографии, где я печатал визитные карточки, мне попался на глаза свежий номер печатающейся там же вечерней одесской газеты. Развернув его, я увидел стихотворение Сергея Городецкого с измененной лишь одной строкой и напечатанное без подписи. Заведующий Типографией сказал мне, что это стихотворение принесено одним начинающим поэтом и выдано им за свое.

Несомненно, в Одессе много безукоризненно-порядочных, даже в северном смысле слова, людей. Но не они задают общий тон. На разлагающемся трупе Востока завелись маленькие юркие червячки, за которыми будущее. Их имена — Порт-Саид, Смирна,

Одесса.

10-го апреля на пароходе Добровольного флота «Тамбов» мы вышли в море. Какие-нибудь две недели тому назад бушующее и опасное Черное море было спокойно, как какое-нибудь озеро, волны мягко раздавались под напором парохода, где рылся, пульсируя, как сердце работающего человека, невидимый винт. Не было видно пены, и только убегала бледно-зеленая малахитовая полоса потревоженной воды. Дельфины дружными стаями мчались за пароходом, то обгоняя его, то отставая, и по временам, как бы в безудержном припадке веселья, подскакивали, показывая лоснящиеся мокрые спины. Наступила ночь, первая на море, священная. Горели давно не виденные звезды, вода бурлила слышнее. Неужели есть люди, которые никогда не видели моря?

12-го утром — Константинополь. Опять эта никогда не приедающаяся, хотя откровенно-декоративная красота Босфора, заливы, лодки с белыми латинскими парусами, с которых веселые турки скалят зубы, дома, лепящиеся по прибрежным склонам, окруженные кипарисами и цветущей сиренью, зубцы и башни старинных крепостей, и солнце, особенное солнце Константинополя, светлое и не жгучее.

Мы прошли мимо эскадры европейских держав, введенной в Босфор на случай беспорядков. Неподвижная и серая, она тупо угрожала шумному и красочному городу. Было восемь часов, время играть национальные гимны. Мы слышали, как спокойно-гордо прозвучал английский, набожно-русский, а испанский так празднично и блестяще, как будто вся эта нация состояла из двадцатилетних юношей и девушек, собравшихся потанцевать.

Как только бросили якорь, мы сели в турецкую лодчонку и отправились на берег, не пренебрегая обычным в Босфоре удовольствием попасть в волну, оставляемую проходящим пароходом, и бешено покачаться в течение нескольких секунд. В Галате, греческой части города, куда мы пристали, царило обычное оживление. Но как только мы перешли широкий деревянный мост, переброшенный через Золотой Рог, и очутились в Стамбуле, нас поразила необычная тишина и запустение. Многие магазины были заперты, кафе пусты, на улицах встречались почти исключительно старики и дети. Мужчины были на Четалдже. Только что пришло известие о падении Скутари. Турция приняла его с тем же спокойствием, с каким затравленный и израненный зверь принимает новый удар.

По узким и пыльным улицам среди молчаливых домов, в каждом из которых подозреваешь фонтаны, розы и красивых женщин как в «Тысяче и одной ночи», мы прошли в Айя-Софию. На окружающем ее тенистом дворе играли полуголые дети,

несколько дервишей, сидя у стены, были погружены в созерцание.

Против обыкновения не было видно ни одного европейца.

Мы откинули повешенную в дверях циновку и вошли в прохладный, полутемный коридор, окружающий храм. Мрачный сторож надел на нас кожаные туфли, чтобы наши ноги не осквернили святыни этого места. Еще одна дверь, и перед нами сердце Византии. Ни колонн, ни лестниц или ниш, этой легко доступной радости готических храмов, только пространство и его стройность. Чудится, что архитектор задался целью вылепить воздух. Сорок окон под куполом кажутся серебряными от проникающего через них света. Узкие простенки поддерживают купол, давая впечатление, что он легок необыкновенно. Мягкие ковры заглушают шаг. На стенах еще видны тени замазанных турками ангелов. Какой-то маленький седой турок в зеленой чалме долго и упорно бродил вокруг нас. Должно быть, он следил, чтобы с нас не соскочили туфли. Он показал нам зарубку на стене, сделанную мечом султана Магомета; след от его же руки омочен в крови; стену, куда, по преданию, вошел патриарх со святыми дарами при появлении турок. От его объяснений стало скучно, и мы вышли. Заплатили за туфли, заплатили непрошеному гиду, и я настоял, чтобы отправиться на пароход.

Я не турист. К чему мне после Айя-Софии гудящий базар с его шелковыми и бисерными искушениями, кокетливые пери, даже несравненные кипарисы кладбища Сулемания. Я еду в Африку и прочел «Отче наш» в священнейшем из храмов. Несколько лет тому назад, тоже на пути в Абиссинию, я бросил луидор в расщелину храма Афины Паллады в Акрополе и верил, что богиня незримо будет мне сопутствовать. Теперь я стал старше.

В Константинополе к нам присоединился еще пассажир, турецкий консул, только что назначенный в Харар. Мы подолгу с ним беседовали о турецкой литературе, об абиссинских обычаях, но чаще всего о внешней политике. Он был очень неопытный дипломат и большой мечтатель. Мы с ним уговорились предложить турецкому правительству послать инструкторов на Сомалийский полуостров, чтобы устроить иррегулярное войско из тамошних мусульман. Оно могло бы служить для усмирения вечно бунтующих арабов Йемена, тем более что турки почти не переносят аравийской жары.

Два, три других плана в том же роде, и мы в Порт-Саиде. Там нас ждало разочарование. Оказалось, что в Константинополе была холера, и нам запрещено было иметь сношение с городом. Арабы привезли нам провизии, которую передали, не поднимаясь на борт, и мы вошли в Суэцкий канал.

Не всякий может полюбить Суэцкий канал, но тот, кто полюбит его, полюбит надолго. Эта узкая полоска неподвижной воды имеет совсем особенную грустную прелесть.

На африканском берегу, где разбросаны домики европейцев, заросли искривленных мимоз с подозрительно темной, словно после пожара, зеленью, низкорослые толстые банановые пальмы; на азиатском берегу волны песка пепельно-рыжего, раскаленного. Медленно проходит цепь верблюдов, позванивая колокольчиками. Изредка показывается какой-нибудь зверь, собака, может быть, гиена или шакал, смотрит с сомненьем и убегает. Большие белые птицы кружат над водой или садятся отдыхать на камни. Кое-где полуголые арабы, дервиши или так бедняки, которым не нашлось места в городах, сидят у самой воды и смотрят в нее, не отрываясь, будто колдуя, впереди и позади нас движутся другие пароходы. Ночью, когда загораются прожекторы, это имеет вид похоронной процессии. Часто приходится останавливаться, чтобы пропустить встречное судно, проходящее медленно и молчаливо, словно озабоченный человек Эти тихие часы на Суэцком канале усмиряют и убаюкивают душу, чтобы потом ее застала врасплох буйная прелесть Красного моря.

Самое жаркое из всех морей, оно представляет картину грозную и прекрасную. Вода как зеркало отражает почти отвесные лучи солнца, точно сверху и снизу расплавленное серебро. Рябит в глазах, и кружится голова. Здесь часты миражи, и я видел у берега несколько обманутых ими и разбившихся кораблей. Острова, крутые голые утесы, разбросанные там и сям, похожи на еще неведомых африканских чудовищ. Особенно один совсем лев, приготовившийся к прыжку, кажется, что видишь гриву и вытянутую морду. Эти острова необитаемы из-за отсутствия источников для питья. Подойдя к борту, можно видеть и воду, бледно-синюю, как глаза убийцы. Оттуда временами выскакивают, пугая неожиданностью, странные летучие рыбы. Ночь еще более чудесна и зловеща. Южный Крест как-то боком висит на небе, которое, словно пораженное дивной болезнью, покрыто золотистой сыпью других бесчисленных звезд. На западе вспыхивают зарницы: это далеко в Африке тропические грозы сжигают леса и уничтожают целые деревни. В пене, оставляемой пароходом, мелькают беловатые искры — это морское свеченье. Дневная жара спала, но в воздухе осталась неприятная сырая духота. Можно выйти на палубу и забыться беспокойным, полным причудливых кошмаров сном.

Мы бросили якорь перед Джиддой, куда нас не пустили, так как там была чума. Я не знаю ничего красивее ярко-зеленых мелей Джидды, окаймляемых чуть розовой пеной. Не в честь ли

их и хаджи, мусульмане, бывавшие в Мекке, носят зеленые чалмы.

Пока агент компании приготовлял разные бумаги, старший помощник капитана решил заняться ловлей акулы. Громадным крюк с десятью фунтами гнилого мяса, привязанный к крепкому канату, служил удочкой, поплавок изображало бревно. Три с лишком часа длилось напряженное ожиданье.

То акул совсем не было видно, то они проплывали так далеко, что их лоцманы не могли заметить приманки.

Акула крайне близорука, и ее всегда сопровождают две хорошенькие небольшие рыбки, которые и наводят ее на добычу. Наконец в воде появилась темная тень сажени в полторы длиною, и поплавок, завертевшись несколько раз, нырнул в воду. Мы дернули за веревку, но вытащили лишь крючок. Акула только кусала приманку, но не проглотила ее. Теперь, видимо, огорченная исчезновеньем аппетитно-пахнущего мяса, она плавала кругами почти на поверхности и всплескивала хвостом по воде. Сконфуженные лоцманы носились туда и сюда. Мы поспешили забросить крючок обратно. Акула бросилась к нему, уже не стесняясь. Канат сразу натянулся, угрожая лопнуть, потом ослаб, и над водой показалась круглая лоснящаяся голова с маленькими алыми глазами. Десять матросов с усильями тащили канат. Акула бешено вертелась, и слышно было, как она ударяла хвостом о борт корабля. Помощник капитана, перегнувшись через борт, разом выпустил в нее пять пуль из револьвера. Она вздрогнула и немного стихла. Пять черных дыр показались на ее голове и беловатых губах. Еще усилье, и ее подтянули к самому борту. Кто-то тронул ее за голову, и она щелкнула зубами. Видно было, что она еще совсем свежа и собирается с силами для решительной битвы. Тогда, привязав нож к длинной палке, помощник капитана сильным и ловким ударом вонзил его ей в грудь и, натужившись, довел разрез до хвоста. Полилась вода, смешанная с кровью, розовая селезенка аршина в два величиною, губчатая печень и кишки вывалились и закачались в воде, как странном формы медузы. Акула сразу сделалась легче, и ее без труда вытащили на палубу. Корабельный кок, вооружившись топором, стал рубить ей голову. Кто-то вытащил сердце и бросил его на пол. Оно пульсировало, двигаясь то туда, то сюда лягушечьими прыжками. В воздухе стоял запах крови.

А в воде у самого борта суетился осиротелый лоцман. Его товарищ исчез, очевидно, мечтая скрыть где-нибудь в отдаленных бухтах позор невольного предательства. А этот верный до конца подскакивал из воды, как бы желая взглянуть, что там делают с его госпожой, кружился вокруг плавающих внутренностей, к

которым уже приближались другие акулы с весьма недвусмысленными намерениями, и всячески высказывал свое безутешное отчаянье.

Акуле отрубили челюсти, чтобы выварить зубы, остальное бросили в море. Закат в этот вечер над зелеными мелями Джидды был широкий и ярко-желтый с алым пятном солнца посредине. Потом он стал нежно-пепельным, потом зеленоватым, точно море отразилось в небе. Мы подняли якорь и пошли прямо на Южный Крест. Вечером мне принесли доставшиеся на мою долю три белых и зубчатых зуба акулы. Через четыре дня, миновав неприветливый Баб-эль-Мандеб, мы остановились у Джибути.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Джибути лежит на африканском берегу Аденского залива к югу от Обока, на краю Таджуракской бухты. На большинстве географических карт обозначен только Обок, но он потерял теперь всякое значенье, в нем живет лишь один упрямый европеец, и моряки не без основанья говорят, что его «съела Джибути». За Джибути — будущее. Ее торговля все возрастает, число живущих в ней европейцев тоже. Года четыре тому назад, когда я приехал в нее впервые, их было триста, теперь их четыреста. Но окончательно она созреет, когда будет достроена железная дорога, соединяющая ее со столицей Абиссинии Аддис-Абебой. Тогда она победит даже Массову, потому что на юге Абиссинии гораздо больше обычных здесь предметов вывоза; воловьих шкур, кофе, золота и слоновой кости. Жаль только, что ею владеют французы, которые обыкновенно очень небрежно относятся к своим колониям и думают, что исполнили свой долг, если послали туда несколько чиновников, совершенно чуждых стране и не любящих ее. Железная дорога даже не субсидирована.

Мы съехали с парохода на берег в моторной лодке. Это нововведение. Прежде для этого служили весельные ялики, на которых гребли голые сомалийцы, ссорясь, дурачась и по временам прыгая в воду, как лягушки. На плоском берегу белели разбросанные там и сям дома. На скале возвышался губернаторский дворец посреди сада кокосовых и банановых пальм. Мы оставили вещи в таможне и пешком дошли до отеля. Там мы узнали, что поезд, с которым мы должны были отправиться в глубь страны, отходит по вторникам и субботам. Нам предстояло пробыть в Джибути три дня.

Я не очень огорчился подобной проволочке, так как люблю этот городок, его мирную и ясную жизнь. От двенадцати до четырех часов пополудни улицы кажутся вымершими; все двери закрыты, изредка, как сонная муха, проплетется какой-нибудь сомалиец. В эти часы принято спать так же, как у нас ночью. Но затем неведомо откуда появляются экипажи, даже автомобили, управляемые арабами в пестрых чалмах, белые шлемы европейцев, даже светлые костюмы спешащих с визитами дам. Террасы обоих кафе полны народом. Между стволов ходит карлик, двадцатилетний араб, аршин ростом, с детским личиком и с громадной приплюснутой головой. Он ничего не просит, но если ему дают кусок сахару или мелкую монету, он благодарит серьезно и вежливо, с совсем особенной, выработанной тысячелетьями восточной грацией. Потом все идут на прогулку.

Улицы полны мягким предвечерним сумраком, в котором четко вырисовываются дома, построенные в арабском стиле, с плоскими крышами и зубцами, с круглыми бойницами и дверьми в форме замочных скважин, с террасами, аркадами и прочими затеями — все в ослепительно-белой извести. В один из подобных вечеров мы совершили очаровательную поездку в загородный сад в обществе m-re Галеба, греческого коммерсанта и русского вице-консула, его жены и Мозар-бея, турецкого консула, о котором я говорил выше. Там узкие тропки между платанами и банановыми широколистными пальмами, жужжанье больших жуков и полный ароматами теплый, как в оранжерее, воздух. На дне глубоких каменных колодцев чуть блестит вода. То там, то сям виден привязанный мул или кроткий горбатый зебу. Когда мы выходили, старик араб принес нам букет цветов и гранат, увы, неспелых.

Быстро прошли эти три дня в Джибути. Вечером прогулки, днем валянье на берегу моря с тщетными попытками поймать хоть одного краба, они бегают удивительно быстро, боком, и при малейшей тревоге забиваются в норы, утром работа. По утрам ко мне в гостиницу приходили сомалийцы племени Исса, и я записывал их песни. От них же я узнал, что это племя имеет своего короля… Гуссейна, который живет в деревне Харауа, в трехстах километрах к юго-западу от Джибути; что оно находится в постоянной вражде с живущими на север от них данакилями и, увы, всегда побеждаемо последними; что Джибути (по-сомалийски Хамаду) построено на месте ненаселенного прежде оазиса и что в нескольких днях пути от него есть еще люди, поклоняющиеся черным камням; большинство все же правоверные мусульмане. Европейцы, хорошо знающие страну, рассказали мне еще, что это племя считается одним из самых свирепых и лукавых во всей восточной Африке. Они нападают обыкновенно ночью и вырезают всех без исключенья. Проводникам из этого племени довериться нельзя.

Сомалийцы обнаруживают известный вкус в выборе орнаментов для своих щитов и кувшинов, в выделке ожерелий и браслетов, они даже являются творцами моды среди окружающих племен, но в поэтическом вдохновении им отказано. Их песни, нескладные по замыслу, бедные образами, ничто по сравнению с величавой простотой абиссинских песен и нежным лиризмом галласских. Я приведу для примера одну, любовную, текст которой в русской транскрипции приведен в приложении.

ПЕСНЯ

«Берига, где живет племя Исса. Гурти, где живет племя Гургура, Харар, который выше земли данакилей, люди Гальбет, которые не покидают своей родины, низкорослые люди, страна, где царит Исаак, страна по ту сторону реки Селлель, где царит Самаррон, страна, где вождю Дароту Галласы носят воду из колодцев с той стороны реки Уэба, — весь мир я обошел, но прекраснее всего этого, Мариан Магана, будь благословенна, Рераудаль, где ты скромнее, красивее и *приятнее цветом кожи, нем все арабские женщины».*

Правда, все первобытные народы любят в поэзии перечисленье знакомых названий, вспомним хотя бы гомеровский перечень кораблей, но у сомалийцев эти перечисления холодны и не разнообразны.

Три дня прошли. На четвертый, когда было еще темно, слуга-араб со свечой обошел комнаты отеля, будя уезжающих в Дире-Дауа. Еще сонные, но довольные утренним холодком, таким приятным после слепящей жары полудней, мы отправились на вокзал. Наши вещи заранее свезли туда в ручной тележке. Проезд во втором классе, где обыкновенно ездят все европейцы, третий класс предназначен исключительно для туземцев, а в первом, который вдвое дороже и нисколько не лучше второго, обыкновенно ездят только члены дипломатических миссий и немногие немецкие снобы, стоил 62 франка с человека, несколько дорого за десять часов пути, но таковы все колониальные железные дороги. Паровозы носят громкие, но далеко не оправдываемые названия: Слон, Буйвол. Сильный и т. д. Уже в нескольких километрах от Джибути, когда начался подъем, мы двигались с быстротой одного метра в минуту, и два негра шли впереди, посыпая песком мокрые от дождя рельсы.

Вид из окна был унылый, но не лишенный величественности. Пустыня коричневая и грубая, выветрившиеся, все в трещинах и провалах горы и, так как был сезон дождей, мутные потоки и целые озера грязной воды. Из куста выбегает диг-диг, маленькая абиссинская газель, пара шакалов, они всегда ходят парами, смотрят с любопытством. Сомалийцы и данакили с громадной всклокоченной шевелюрой стоят, опираясь на копья. Европейцами исследована лишь небольшая часть страны, именно та, по которой проходит железная дорога, что справа и слева от нее — тайна. На маленьких станциях голые черные ребятишки протягивали к нам ручонки и заунывно, как какую-нибудь песню, тянули самое популярное на всем Востоке слово: бакшиш (подарок).

В два часа дня мы прибыли на станцию Айша в 160 километрах от Джибути, то есть на половине дороги. Там буфетчик-грек приготовляет очень недурные завтраки для проезжающих. Этот грек оказался патриотом и нас, как русских, принял с распростертыми объятьями, отвел нам лучшие места, сам прислуживал, но, увы, из того же патриотизма отнесся крайне неласково к нашему другу турецкому консулу. Мне пришлось отвести его в сторону и сделать надлежащее внушение, что было очень трудно, так как он, кроме греческого, говорил только немного по-абиссински.

После завтрака нам было объявлено, что поезд дальше не пойдет, так как дождями размыло путь, и рельсы висят на воздухе. Кто-то вздумал сердиться, но разве это могло помочь. Остаток дня прошел в томительном ожидании, только грек не скрывал своей радости: у него не только завтракали, у него и обедали. Ночью всяк разместился, как мог. Мой спутник остался спать в вагоне, я неосторожно принял предложение кондукторов-французов лечь в их помещении, где была свободная кровать, и до полночи должен был выслушивать их казарменно-нелепую болтовню. Утром выяснилось, что путь не только не исправлен, но что надо по меньшей мере 6 дней, чтобы иметь возможность двинуться дальше, и что желающие могут вернуться в Джибути. Пожелали все, за исключением турецкого консула и нас двух. Мы остались, потому что на станции Айша жизнь стоила много дешевле, чем в городе. Турецкий консул, я думаю, только из чувства товарищества; кроме того, у нас троих была смутная надежда каким-нибудь образом добраться до Дире-Дауа раньше, чем в 8 дней. Днем мы пошли на прогулку; перешли невысокий холм, покрытый мелкими острыми камнями, навсегда погубившими нашу обувь, погнались за большой колючей ящерицей, которую, наконец, поймали, и незаметно отдалились километра на 3 от станции. Солнце клонилось к закату; мы уже повернули назад, как вдруг увидели двух станционных солдат-абиссинцев, которые бежали к нам, размахивая оружием. «Мындерну» (в чем дело?), спросил я, увидев их встревоженные лица. Они объяснили, что сомалийцы в этом местности очень опасны, бросают из засады копья в проходящих, частью из озорства, частью потому, что по их обычаю жениться может только убивший человека. Но на вооруженного они никогда не нападают. После мне подтвердили справедливость этих рассказов, и я сам видел в Дире-Дауа детей, которые подбрасывали на воздух браслет и пронзали его на лету ловко брошенным копьем. Мы вернулись на станцию, конвоируемые абиссинцами, подозрительно оглядывающими каждый куст,

каждую кучу камней.

На другой день из Джибути прибыл поезд с инженерами и чернорабочими для починки пути. С ними же приехал и курьер, везущий почту для Абиссинии.

К этому времени уже выяснилось, что путь испорчен на протяжении восьмидесяти километров, но что можно попробовать проехать их на дрезине. После долгих препирательств с главным инженером мы достали две дрезины: одну для нас, другую для багажа. С нами поместились ашкеры (абиссинские солдаты), предназначенные нас охранять, и курьер. Пятнадцать рослых сомалийцев, ритмически выкрикивая «ейдехе, ейдехе» — род русской «дубинушки», не политической, а рабочей, — взялись за ручки дрезин, и мы отправились.

Дорога, действительно, была трудна. Над промоинами рельсы дрожали и гнулись, и кое-где приходилось идти пешком. Солнце палило так, что наши руки и шеи через полчаса покрылись волдырями. По временам сильные порывы ветра обдавали нас пылью. Окрестности были очень богаты дичью. Мы опять видели шакалов, газелей и даже на берегу одного болота нескольких марабу, но они были слишком далеко. Одному из наших ашкеров удалось убить стрепета величиной почти с маленького страуса. Он был очень горд своей удачей.

Через несколько часов мы встретили паровоз и две платформы, подвозившие материалы для починки пути. Нас пригласили перейти на них, и еще час мы ехали таким примитивным способом. Наконец, мы встретили вагон, который на следующее утро должен был отвезти нас в Дире-Дауа. Мы пообедали ананасным вареньем и печеньем, которые у нас случайно оказались, и переночевали на станции. Было холодно, слышался рев гиены. А в восемь часов утра перед нами в роще мимоз замелькали белые домики Дире-Дауа.

Как быть путешественнику, добросовестно заносящему в дневник свои впечатления? Как признаться ему при въезде в новый город, что первое привлекает его вниманье? Это чистые постели с белыми простынями, завтрак за столом, покрытым скатертью, книги и возможность сладкого отдыха?

Я далек от того, чтобы отрицать отчасти пресловутую прелесть «пригорков и ручейков». Закат солнца в пустыне, переправа через разлившиеся реки, сны ночью, проведенною под пальмами, навсегда останутся одними из самых волнующих и прекрасных мгновений моей жизни. Но когда культурная повседневность, уже успевшая для путника стать сказкой, мгновенно превращается в реальность — пусть смеются надо мной городские любители природы — это тоже прекрасно. И я с

благодарностью вспоминаю ту гекко, маленькую, совершенно прозрачную ящерицу, бегающую по стенам комнат, которая, пока мы завтракали, ловила над нами комаров и временами поворачивала к нам свою безобразную, но уморительную мордочку.

Надо было составлять караван. Я решил взять слуг в Дире-Дауа, а мулов купить в Хараре, где они много дешевле. Слуги нашлись очень быстро: Хайле, негр из племени мангаля, скверно, но бойко говорящий по-французски, был взят как переводчик, харарит Абдулайе, знающий лишь несколько французских слов, но зато имеющий своего мула, как начальник каравана, и пара быстроногих черномазых бродяг, как ашкеры. Потом наняли на завтра верховых мулов и со спокойным сердцем отправились бродить по городу.

Дире-Дауа очень выросла за те три года, пока я ее не видел, особенно ее европейская часть. Я помню время, когда в ней было всего две улицы, теперь их с десяток. Есть сады с цветниками, просторные кафе. Есть даже французский консул. Весь город разделяется на две части руслом высохшей реки, которая наполняется лишь во время дождя: европейскую ближе к вокзалу и туземную, т. е. просто беспорядочное нагромождение хижин, загородок для скота и редких лавок. В европейской части живут французы и греки. Французы — господа положения: они или служат на железной дороге, где получают хорошее жалование, или содержат лучшие отели и ведут крупную торговлю; начальник почты — француз, доктор — тоже. Их уважают, но не любят за постоянно проявляемое ими высокомерие к цветным расам. В руках греков и изредка армян вся мелкая торговля Абиссинии. Абиссинцы называют их «грик» и отделяют от прочих европейцев, «френджей». В европейское, т. е. во французское, общество они за немногими исключеньями не приняты, хотя многие из них зажиточны. В одном маленьком греческом кафе, которое по вечерам превращается в настоящий игорный дом, я видел ставки по нескольку сот талеров, принадлежащие весьма подозрительным оборванцам.

В европейской части города нет ни экипажей, ни фонарей. Улицы освещаются луной и окнами кафе.

В туземной части города можно бродить целый день, не соскучась. В двух больших лавках, принадлежащих богатым индусам Джиоваджи и Мохамет-Али, шелковые шитые золотом одежды, кривые сабли в красных сафьяновых ножнах, кинжалы с серебряной чеканкой и всевозможные восточные украшения, так ласкающие глаза. Их продают важные толстые индусы в ослепительно белых рубашках под халатами и в шелковых

шапочках блином. Пробегают йеменские арабы, тоже торговцы, но главным образом комиссионеры. Сомалийцы, искусные в различного рода рукодельях, тут же на земле плетут циновки, приготовляют по мерке сандалии. Проходя перед хижинами галласов, слышишь запах ладана, их любимого куренья. Перед домом данакильского нагадраса[1] (собственно говоря, начальника купцов, но в действительности — просто важного начальника) висят хвосты слонов, убитых его ашкерами. Прежде висели и клыки, но с тех пор как абиссинцы завоевали страну, бедным данакилям приходится довольствоваться одними хвостами. Абиссинцы с ружьями за плечами ходят без дела с независимым видом. Они завоеватели, им работать неприлично. И сейчас же за городом начинаются горы, где стада павианов обгрызают молочаи и летают птицы с громадными красными носами.

Чтобы быть уверенным в своих ашкерах, необходимо записать их и их поручителей у городского судьи. Я отправился к нему и имел случай видеть абиссинский суд. На террасе дома, выходящей на довольно обширный двор, сидел, поджав под себя ноги, статный абиссинец, главный судья, окруженный помощниками и просто друзьями. Шагах в пяти перед ним на земле лежало бревно, за которое не должны были переступать тяжущиеся даже в пылу защиты или обвинения. Двор был полон ашкерами, принадлежащими судье, и просто любопытными. Когда я вошел, судья вежливо приветствовал меня, велел подать стул и, заметив, что я интересуюсь тяжбой, сам дал несколько разъяснений. По ту сторону бревна стояли высокий абиссинец с красивым, но искаженным злобою лицом, и приземистый, одна нога на деревяшке, араб, весь полный торжеством в ожиданьи близкой победы. Дело состояло в том, что абиссинец взял у араба мула, чтобы куда-то проехать, и мул издох. Араб требовал уплаты, абиссинец доказывал, что мул был больной. Говорили по очереди. Абиссинец перепрыгивал через бревно и в такт своим аргументам тыкал пальцем прямо в лицо судье. Араб принимал красивые позы, распахивал и запахивал свою шамму (белая мантия, общая для всех обитателей Абиссинии), и, говоря, выбирал выраженья и, видимо, старался для галерки. Действительно, дружный сочувственный смех сопутствовал его выступленьям. Даже судья с улыбкой покачивал головой и бормотал: «Ойю гут» («это удивительно»). Наконец, когда оба тяжущиеся поклялись смертью Менелика (в Абиссинии всегда клянутся смертью императора или кого-нибудь из высших сановников), утверждая противное, восторг сделался общим. Я не дождался конца и, записав ашкеров, ушел, но видно было, что

победит араб. Судиться в Абиссинии — очень трудная вещь. Обыкновенно выигрывает тот, кто заранее сделает лучший подарок судье, а как узнать, сколько дал противник? Дать же слишком много тоже невыгодно. Тем не менее абиссинцы очень любят судиться, и почти каждая ссора кончается традиционным приглашением во имя Менелика (ба Менелик) явиться в суд.

Днем прошел ливень, настолько сильный, что ветром снесло крышу с одного греческого отеля, правда, не особенно прочной постройки. Под вечер мы вышли пройтись и, конечно, посмотреть, что сталось с рекой. Ее нельзя было узнать, она клокотала, как мельничный омут. Особенно перед нами один рукав, огибавший маленький островок, неистовствовал необычайно. Громадные валы совершенно черной воды и даже не воды, а земли и песка, поднятого со дна, летели, перекатываясь друг через друга, и, ударяясь о выступ берега, шли назад, поднимались столбом и ревели. В тот тихий матовый вечер это было зрелище страшное, но прекрасное. На островке прямо перед нами стояло большое дерево. Волны с каждым ударом обнажали его корни, обдавая его брызгами пены. Дерево вздрагивало всеми ветвями, но держалось крепко. Под ним уже почти не оставалось земли, и лишь два-три корня удерживали его на месте. Между зрителями даже составлялись пари: устоит оно или не устоит. Но вот другое дерево, вырванное где-то в горах потоком, налетело и, как тараном, ударило его. Образовалась мгновенная запруда, которой было достаточно, чтобы волны всей своей тяжестью обрушились на погибающего. Посреди рева воды слышно было, как лопнул главный корень, и, слегка качнувшись, дерево как-то сразу нырнуло в водоворот всей зеленой метелкой ветвей. Волны бешено подхватили его, и через мгновенье оно было уже далеко. А в то время, как мы следили за гибелью дерева, ниже нас по течению утонул ребенок, и весь вечер мы слышали, как голосила мать.

Наутро мы отправились в Харар.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Дорога в Харар пролегает первые километров двадцать по руслу той самой реки, о которой я говорил в предыдущей главе. Ее края довольно отвесны, и не дай бог путнику оказаться на ней во время дождя. Мы, к счастью, были гарантированы от этой опасности, потому что промежуток между двумя дождями длится около сорока часов. И не мы одни воспользовались удобным случаем. По дороге ехали десятки абиссинцев, проходили данакили, галласские женщины с отвислой голой грудью несли в город вязанки дров и травы. Длинные цепи верблюдов, связанных между собой за морды и хвосты, словно нанизанные на нитку забавные четки, проходя, пугали наших мулов. Ожидали приезда в Дире-Дауа харарского губернатора дедьязмага[2] Тафари, и мы часто встречали группы выехавших встретить его европейцев на хорошеньких резвых лошадках.

Дорога напоминала рай на хороших русских лубках: неестественно зеленая трава, слишком раскидистые ветви деревьев, большие разноцветные птицы и стада коз по откосам гор. Воздух мягкий, прозрачный и словно пронизанный крупинками золота. Сильный и сладкий запах цветов, И только странно дисгармонируют со всем окружающим черные люди, словно грешники, гуляющие в раю, по какой-нибудь еще не созданной легенде.

Мы ехали рысью, и наши ашкеры бежали впереди, еще находя время подурачиться и посмеяться с проходящими женщинами. Абиссинцы славятся своей быстроногостью, и здесь общее правило, что на большом расстоянии пешеход всегда обгонит конного. Через два часа пути начался подъем: узкая тропинка, иногда переходящая прямо в канавку, вилась почти отвесно на гору. Большие камни заваливали дорогу, и нам пришлось, слезши с мулов, идти пешком. Это было трудно, но хорошо. Надо взбегать, почти не останавливаясь, и балансировать на острых камнях: так меньше устаешь. Бьется сердце и захватывает дух: словно идешь на любовное свидание. И зато бываешь вознагражден неожиданным, как поцелуй, свежим запахом горного цветка, внезапно открывшимся видом на нежно затуманенную долину. И когда, наконец, полузадохшиеся и изнеможденные, мы взошли на последний кряж, нам сверкнула в глаза так давно невиданная спокойная вода, словно серебряный щит; горное озеро Адели. Я посмотрел на часы: подъем длился полтора часа. Мы были на Харарском плоскогории. Местность резко изменилась. Вместо мимоз зеленели банановые пальмы и

изгороди молочаев; вместо дикой травы — старательно возделанные поля дурро. В галласской деревушке мы купили нжиры (род толстых блинов из черного теста, заменяющие в Абиссинии хлеб) и съели ее, окруженные любопытными ребятишками, при малейшем нашем движении бросающимися удирать. Отсюда в Харар шла прямая дорога, и кое-где на ней были даже мосты, переброшенные через глубокие трещины в земле. Мы проехали второе озеро Оромоло, вдвое больше первого, застрелили болотную птицу с двумя белыми наростами на голове, пощадили красивого ибиса и через пять часов очутились перед Хараром.

Уже с горы Харар представлял величественный вид со своими домами из красного песчаника, высокими европейскими домами и острыми минаретами мечетей. Он окружен стеной, и через ворота не пропускают после заката солнца. Внутри же это совсем Багдад времен Гаруна-аль-Рашида. Узкие улицы, которые то подымаются, то спускаются ступенями, тяжелые деревянные двери, площади, полные галдящим людом в белых одеждах, суд, тут же на площади — все это полно прелести старых сказок. Мелкие мошенничества, проделываемые в городе, тоже совсем в древнем духе. Навстречу нам по многолюдной улице шел с ружьем на плече мальчишка — негр лет десяти, по всем признакам раб, и за ним из-за угла следил абиссинец. Он не дал нам дороги, но так как мы ехали шагом, нам не трудно было объехать его. Вот показался красивый харарит, очевидно, торопившийся, так как он скакал галопом. Он крикнул мальчишке посторониться, тот не послушался и, задетый мулом, упал на спину, как деревянный солдатик, сохраняя на лице все ту же спокойную серьезность. Следивший из-за угла абиссинец бросился за хараритом и, как кошка, вскочил позади седла. «Ба Менелик, ты убил человека». Харарит уже приуныл, но в это время негритенок, которому, очевидно, надоело лежать, встал и стал отряхивать с себя пыль. Абиссинцу все-таки удалось сорвать талер за увечье, чуть-чуть не нанесенное его рабу.

Мы остановились в греческом отеле, единственном в городе, где за скверную комнату и еще более скверный стол с нас брали цену, достойную парижского Grand Hotel'a. Но все-таки приятно было выпить освежительного пинцерменту и сыграть партию в засаленные и обгрызенные шахматы.

В Хараре я встретил знакомых. Подозрительный мальтиец Каравана, бывший банковский чиновник, с которым я смертельно рассорился в Аддис-Абебе, первый пришел приветствовать меня. Он навязывал мне чьего-то чужого скверного мула, намереваясь получить комиссионные, Предложил сыграть в покер, но я уже

знал его манеру игры. Наконец, с обезьянними ужимками посоветовал послать дедьязмагу ящик с шампанским, чтобы потом забежать перед ним и похвастаться своей распорядительностью. Когда же ни одно из его стараний не увенчалось успехом, он потерял ко мне всякий интерес. Но я сам послал искать другого моего аддис-абебского знакомого — маленького чистенького пожилого копта, директора местной школы. Склонный к философствованию, как большинство его соотечественников, он высказывал подчас интересные мысли, рассказывал забавные истории, и все его миросозерцание производило впечатление хорошего и устойчивого равновесья. С ним мы играли в покер и посетили его школу, где маленькие абиссинцы лучших в городе фамилий упражнялись в арифметике на французском языке. В Хараре у нас оказался даже соотечественник, русский подданный армянин Артем Иоханжан, живший в Париже, в Америке, в Египте и около двадцати лет живущий в Абиссинии. На визитных карточках он значится как доктор медицины, доктор наук, негоциант, комиссионер и бывший член Суда, но когда его спрашивают, как получил он столько званий ответ — неопределенная улыбка и жалобы на дурные времена.

Кто думает, что в Абиссинии легко купить мулов, тот очень ошибается. Специальных купцов нет, мулиных ярмарок тоже. Ашкеры ходят по домам, справляясь, нет ли продажных мулов. У абиссинцев разгораются глаза: может быть, белый не знает цены и его можно надуть. К отелю тянется цепь мулов, иногда очень хороших, но зато безумно дорогих. Когда эта волна спадет, начинается другая: ведут мулов больных, израненных, разбитых на ноги в надежде, что белый не понимает толк в мулах, и только потом поодиночке начинают приводить хороших мулов и за настоящую цену. Таким образом, в три дня нам посчастливилось купить четырех. Много помог нам наш Абдулайе, который хотя и брал взятки с продавцов, но все же очень старался в нашу пользу. Зато низость переводчика Хайле выяснилась за эти дни вполне. Он не только не искал мулов, но даже, кажется, перемигнулся с хозяином отеля, чтобы как можно дольше задержать нас там. Я его отпустил тут же в Хараре.

Другого переводчика мне посоветовали искать в католической миссии. Я отправился туда с Иоханжаном. Мы вошли в полуотворенную дверь и очутились на большом безукоризненно чистом дворе. На фоне высоких белых стен с нами раскланивались тихие капуцины в коричневых рясах. Ничто не напоминало Абиссинии, казалось, что мы в Тулузе или в Арле. В просто убранной комнате к нам выбежал, именно выбежал, сам

монсеньер, епископ галласский, француз лет пятидесяти с широко раскрытыми, как будто удивленными глазами. Он был отменно любезен и приятен в обращении, но года, проведенные среди дикарей в связи с общей монашеской наивностью, давали себя чувствовать. Он как-то слишком легко, точно семнадцатилетняя институтка, удивлялся, радовался и печалился всему, что мы говорили. Он знал одного переводчика, это галлас Поль, бывший воспитанник миссии, очень хороший мальчик, он его ко мне пришлет. Мы попрощались и вернулись в отель, куда через два часа пришел и Поль. Рослый парень с грубоватым крестьянским лицом, он охотно курил, еще охотнее пил и в то же время смотрел сонно, двигался вяло, словно зимняя муха. С ним мы не сошлись в цене. После, в Дире-Дауа, я взял другого воспитанника миссии Феликса. По общему утверждению всех видевших его европейцев, он имел такой вид, точно его начинает тошнить, когда он поднимался по лестнице, хотелось почти поддержать его, и однако он был совершенно здоров, и тоже un tres brave garson[3] как находили миссионеры. Мне сказали, что все воспитанники католических миссий таковы. Они отдают свою природную живость и понятливость взамен сомнительных моральных достоинств.

Вечером мы отправились в театр. Дедьязмаг Тафари увидел однажды в Дире-Дауа спектакли заезжей индийской труппы и так восхитился, что решил во что бы то ни стало доставить то же зрелище и своей жене. Индийцы на его счет отправились в Харар, получили бесплатно помещение и прекрасно обжились. Это был первый театр в Абиссинии, и он имел огромный успех. Мы с трудом нашли два места в первом ряду; для этого пришлось отсадить на приставные стулья двух почтенных арабов. Театр оказался просто-напросто балаганом: низкая железная крыша, некрашеные стены, земляной пол — все это было, быть может, даже слишком бедно. Пьеса была сложная, какой-то индийский царь в лубочно-пышном костюме увлекается красивой наложницей и пренебрегает не только своей законной супругой и молодым прекрасным принцем сыном, но и делами правления. Наложница, индийская Федра, пытается обольстить принца и в отчаянии от неудачи клевещет на него царю. Принц изгнан, царь проводит все свое время в пьянстве и чувственных наслаждениях. Нападают враги, он не защищается, несмотря на уговоры верных воинов, и ищет спасения в бегстве. В город вступает новый царь. Случайно на охоте он спас от руки разбойников законную жену прежнего царя, последовавшую в изгнание за своим сыном. Он хочет жениться на ней, но когда та отказывается, говорит, что согласен относиться к ней, как к своей матери. У нового царя есть

дочь, ей надо выбрать жениха, и для этого собираются во дворец все окружные принцы. Кто сможет выстрелить из заколдованного лука, тот будет избранником. Изгнанный принц в одежде нищего тоже приходит на состязание. Конечно, только он может натянуть лук, и все в восторге, узнав, что он королевской крови. Царь вместе с рукой своей дочери отдает ему и престол, прежний царь, раскаявшись в своих заблуждениях, возвращается и тоже отказывается от своих прав на царствование.

Единственный режиссерский трюк состоял в том, что, когда опускался занавес, изображавший улицу большого восточного города, перед ним актеры, переодетые горожанами, разыгрывали маленькие забавные сценки, лишь отдаленно относившиеся к общему действию пьесы.

Декорации, увы, были в очень дурном европейском стиле, с претензиями на красивость и реализм. Самое интересное было то, что все роли исполнялись мужчинами. Как ни странно, но это не только не вредило впечатлению, но даже усиливало его. Получалось приятное единообразие голосов и движений, которое так редко встречается в наших театрах. Особенно хорош был актер, игравший наложницу; набеленный, нарумяненный, с красивым цыганским профилем, он выказал столько страсти и кошачьей грации в сцене обольщения короля, что зрители были искренно взволнованы. Особенно разгорались глаза у переполнявших театр арабов.

Мы вернулись в Дире-Дауа, взяли весь наш багаж и новых ашкеров и через три дня были уже на обратной дороге. Ночевали на половине подъема, и это была наша первая ночь в палатке. Там уместились только две наши кровати и между них, как ночной столик, два поставленные один на другой чемоданы типа выработанного Грумм-Гржимайло. Еще не обгоревший фонарь распространял зловонье. Мы поужинали китой (мука, размешанная в воде и поджаренная на сковородке, обычная здесь еда в пути) и вареным рисом, который мы ели сперва с солью, потом с сахаром. Утром встали в шесть часов и двинулись дальше.

Нам сказали, что наш друг турецкий консул находится в отеле в двух часах езды от Харара и ожидает, чтобы харарские власти были официально извещены о его прибытьи в Аддис-Абебу. Об этом хлопотал германский посланник в Аддис-Абебе. Мы решили заехать в этот отель, отправив караван вперед.

Несмотря на то, что консул еще не вступил в исполнение своих обязанностей, он уже принимал многочисленных мусульман, видевших в нем наместника самого султана и желавших его приветствовать. По восточному обычаю все

приходили с подарками. Турки-садоводы приносили овощи и плоды, арабы — баранов и кур. Вожди полунезависимых сомалийских племен присылали спрашивать, что он хочет, льва, слона, табун лошадей или десяток страусовых кож, снятых вместе со всеми перьями. И только сирийцы, одетые в пиджаки и корчащие европейцев, приходили с развязным видом и пустыми руками.

Мы пробыли у консула около часа и, приехав в Харар, узнали грустную новость, что наши ружья и патроны задержаны в городской таможне. На следующее утро наш знакомый армянин, коммерсант из окрестностей Харара, заехал за нами, чтобы вместе ехать навстречу консулу, который, наконец, получил нужные бумаги и мог совершить торжественный въезд в Харар. Мой спутник слишком устал накануне, и я поехал один. Дорога имела праздничный вид. Арабы в белых и цветных одеждах в почтительных позах сидели на скалах. Там и сям сновали абиссинские ашкеры, посланные губернатором для почетного конвоя и водворения порядка. Белые, т. е. греки, армяне, сирийцы и турки — все знакомые между собой, скакали группами, болтая и одалживаясь папироской. Попадавшиеся навстречу крестьяне-галласы испуганно сторонились, видя такое торжество.

Консул, я, кажется, забыл написать, что это был генеральный консул, был достаточно величествен в своем богато расшитом золотом мундире, ярко-зеленой ленте через плечо и ярко-красной феске. Он сел на большую белую лошадь, выбранную из самых смирных (он не был хорошим наездником), два ашкера взяли ее под уздцы, и мы тронулись обратно в Харар. Мне досталось место по правую руку консула, по левую ехал Калиль Галеб, здешний представитель торгового дома Галебов. Впереди бежали губернаторские ашкеры, позади ехали европейцы, и сзади них бежали преданные мусульмане и разный праздношатающийся люд. В общем, было человек до шестисот. Греки и армяне, ехавшие сзади, напирали на нас нещадно, каждый стараясь показать свою близость к консулу. Один раз даже его лошадь вздумала бить задом, но и это не останавливало честолюбцев. Большое замешательство произвела какая-то собака, которая вздумала бегать и лаять в этой толпе. Ее гнали, били, но она все принималась за свое. Я отделился от шествия, потому что у моего седла оборвался подхвостник и со своими двумя ашкерами вернулся в отель. На следующий день, согласно прежде полученному и теперь подтвержденному приглашению, мы перебрались из отеля в турецкое консульство.

Чтобы путешествовать по Абиссинии, необходимо иметь пропуск от правительства. Я телеграфировал об этом русскому

поверенному в делах в Аддис-Абебу и получил ответ, что приказ выдать мне пропуск отправлен начальнику харарской таможни нагадрасу Бистрати. Но нагадрас объявил, что он ничего не может сделать без разрешения своего начальника дедьязмага Тафари. К дедьязмагу следовало идти с подарком. Два дюжих негра, когда мы сидели у дедьязмага, принесли, поставили к его ногам купленный мной ящик с вермутом. Сделано это было по совету Калиль Галеба, который нас и представлял. Дворец дедьязмага, большой двухэтажный деревянный дом с крашеной верандой, выходящий во внутренний, довольно грязный двор, напоминал не очень хорошую дачу, где-нибудь в Парголове или Териоках. На дворе толклось десятка два ашкеров, державшихся очень развязно. Мы поднялись по лестнице и после минутного ожиданья на веранде вошли в большую устланную коврами комнату, где вся мебель состояла из нескольких стульев и бархатного кресла для дедьязмага. Дедьязмаг поднялся нам навстречу и пожал нам руки. Он был одет в шамму, как все абиссинцы, но по его точеному лицу, окаймленному черной вьющейся бородкой, по большим полным достоинства газельим глазам и по всей манере держаться в нем сразу можно было угадать принца. И неудивительно: он был сын раса[4] Маконнена, двоюродного брата и друга императора Менелика, и вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской. Мы просили его о пропуске, но он, несмотря на подарок, ответил, что без приказания из Аддис-Абебы он ничего сделать не может. К несчастью, мы не могли даже достать удостоверения от нагадраса, что приказ получен, потому что нагадрас отправился искать мула, пропавшего с почтой из Европы по дороге из Дире-Дауа в Харар. Тогда мы просили дедьязмага о разрешении сфотографировать его, и на это он тотчас же согласился. Через несколько дней мы пришли с фотографическим аппаратом. Ашкеры расстелили ковры прямо на дворе, и мы сняли дедьязмага в его парадной синей одежде. Затем была очередь за принцессой, его женой. Она сестра Лидж Иясу, наследника престола, и следовательно, внучка Менелика. Ей двадцать два года, на три года больше, чем ее мужу, и черты ее лица очень приятны, несмотря на некоторую полноту, которая уже испортила ее фигуру. Впрочем, кажется, она находилась в интересном положении. Дедьязмаг проявлял к ней самое трогательное вниманье. Сам усадил в нужную позу, оправил платье и просил нас снять ее несколько раз, чтобы наверняка иметь успех. При этом выяснилось, что он говорит по-французски, но только стесняется, не без основанья находя, что принцу неприлично делать ошибки. Принцессу мы сняли с ее двумя девочками-

служанками.

Мы послали в Аддис-Абебу новую телеграмму и принялись за работу в Хараре. Мой спутник стал собирать насекомых в окрестностях города. Я его сопровождал раза два. Это удивительно умиротворяющее душу занятие: бродить по белым тропинкам между кофейных полей, взбираться на скалы, спускаться к речке и везде находить крошечных красавцев — красных, синих, зеленых и золотых. Мой спутник собирал их в день до полусотни, причем избегал брать одинаковых. Моя работа была совсем иного рода: я собирал этнографические коллекции, без стеснения останавливал прохожих, чтобы посмотреть надетые на них вещи, без спроса входил в дома и пересматривал утварь, терял голову, стараясь добиться сведений о назначении какого-нибудь предмета у непонимавших, к чему все это, хараритов. Надо мной насмехались, когда я покупал старую одежду, одна торговка прокляла, когда я вздумал ее сфотографировать, и некоторые отказывались продать мне то, что я просил, думая, что это нужно мне для колдовства. Для того, чтобы достать священный здесь предмет — чалму, которую носят хараритские, бывавшие в Мекке, мне пришлось целый день кормить листьями ката (наркотического средства, употребляемого мусульманами) обладателя его, одного старого полоумного шейха. И в доме матери кавоса при турецком консульстве я сам копался в зловонной корзине для старья и нашел там много интересного. Эта охота за вещами увлекательна чрезвычайно: перед глазами мало-помалу встает картина жизни целого народа и все растет нетерпенье увидеть ее больше и больше. Купив прядильную машину, я увидел себя вынужденным узнать и ткацкий станок. После того, как была приобретена утварь, понадобились и образчики пищи. В общем, я приобрел штук семьдесят чисто хараритских вещей, избегая покупать арабские или абиссинские. Однако всему должен наступить конец. Мы решили, что Харар изучен, насколько нам позволяли наши силы, и, так как пропуск мог быть получен только дней через восемь, налегке, т. е. только с одним грузовым мулом и тремя ашкерами, отправились в Джиджига к сомалийскому племени Габаризаль. Но об этом я позволю себе рассказать в одной из следующих глав.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Харар основан лет девятьсот тому назад мусульманскими выходцами из Тигре, бежавшими от религиозных преследований и смешавшимися с ними арабами. Он расположен на небольшом, но чрезвычайно плодородном плоскогорье, которое с севера и с запада граничит с данакильской пустыней, с востока — с землей Сомали, а с юга — с высокой и лесистой областью Мета; в общем, занимаемое им пространство равняется восьмидесяти квадратным километрам. Собственно хараритъ живут только в городе и выходят работать в сады, где растет кофе и чад (дерево с опьяняющими листьями), остальное пространство с пастбищами и полями дурро и маиса еще в XVI веке занято галласами, коту, т. е. земледельцами. Харар был независимым государством до…[5] В этом году негус Менелик в битве при Челонко в Гергере наголову разбил харарского негуса Абдуллаха и взял его самого в плен, где тот вскоре и умер. Его сын живет под надзором правительства в Абиссинии, номинально называется харарским негусом и получает солидную пенсию. Я его видел в Аддис-Абебе: это красивый полный араб с приятной важностью лица и движений, но с какой-то запуганностью во взгляде. Впрочем, он не высказывает никаких поползновений вернуть себе престол. После победы Менелик поручил управление Хараром своему двоюродному брату расу Маконнену, одному из величайших государственных людей Абиссинии. Тот удачными войнами распространил пределы своей провинции на всю землю данакилей и на большую часть сомалийского полуострова. После его смерти Хараром управлял его сын дедзаг Ильма, но через год он умер. Потом дедзаг Бальча. Это был человек сильный и суровый. О нем до сих пор говорят в городе, кто с негодованием, кто с неподдельным уважением. Когда он прибыл в Харар, там был целый квартал веселых женщин, и его солдаты принялись ссориться из-за них, и дело доходило даже до убийства. Бальча приказал вывести их всех на площадь и продал с публичного торга (как рабынь), поставив их покупателям условие, что они должны смотреть за поведением своих новых рабынь. Если хоть одна из них будет замечена, что она занимается прежним ремеслом, то она подвергается смертной казни, а соучастник ее преступления платит штраф в десять талеров. Теперь Харар едва ли не самый целомудренный город в мире, так как хараритъ, не поняв, как следует, принца, распространили его даже на простой адюльтер. Когда пропала европейская почта, Бальча приказал повесить всех обитателей того дома, где нашлась пустая сумка, и

четырнадцать трупов долго качались на деревьях по дороге между Дире-Дауа и Хараром. Он отказывался платить подати негусу, утверждая, что по эту сторону Гаваша негус — он, и предлагал отрешить его от губернаторства; он знал, что им дорожили как единственным в Абиссинии искусным стратегом. Теперь он губернатор в отдаленной области Сидамо и ведет себя там так же, как в Хараре.

Дедьязмаг Тафари, наоборот, мягок, нерешителен и непредприимчив. Порядок держится только вице-губернатором Фитаурари Габре, старым сановником школы Бальчи. Этот охотно раздает по двадцать, тридцать жирафов, т. е. ударов бичом из жирафьей кожи, и даже вешает подчас, но очень редко.

И европейцы, и абиссинцы, и галласы, точно сговорившись, ненавидят хараритов. Европейцы за вероломство и продажность, абиссинцы за лень и слабость, ненависть галласов, результат многовековой борьбы, имеет даже мистический оттенок. «Сыну ангелов, не носящему рубашки, не следует входить в дома черных хараритов» — поется в их песенке, и обыкновенно они исполняют этот завет. Все это мне кажется не совсем справедливым. Хараритские действительно унаследовали наиболее отталкивающие качества семитической расы, но не больше, чем арабы Каира или Александрии, и это их несчастье, что им приходится жить среди рыцарей-абиссинцев, трудолюбивых галласов и благородных арабов Йемена. Они очень начитаны, отлично знают Коран и арабскую литературу, но особенной религиозностью не отличаются. Их главный святой, шейх Абукир, пришедший лет двести тому назад из Аравии и похороненный в Хараре. Ему посвящены многочисленные платаны в городе и окрестностях, так называемые аулиа. Аулиа здешние мусульмане называют все обладающее силой творить чудеса во славу Аллаха. Есть аулиа покойники и живые, деревья и предметы. Так, на базаре в Гинире мне долго отказывались продать зонтик туземной работы, говоря, что это аулиа. Впрочем, более образованные знают, что неодушевленный предмет не может быть священен сам по себе и что чудеса творит дух того или иного святого, поселившегося в этом предмете.

Публикация О. Н. ВЫСОТСКОГО

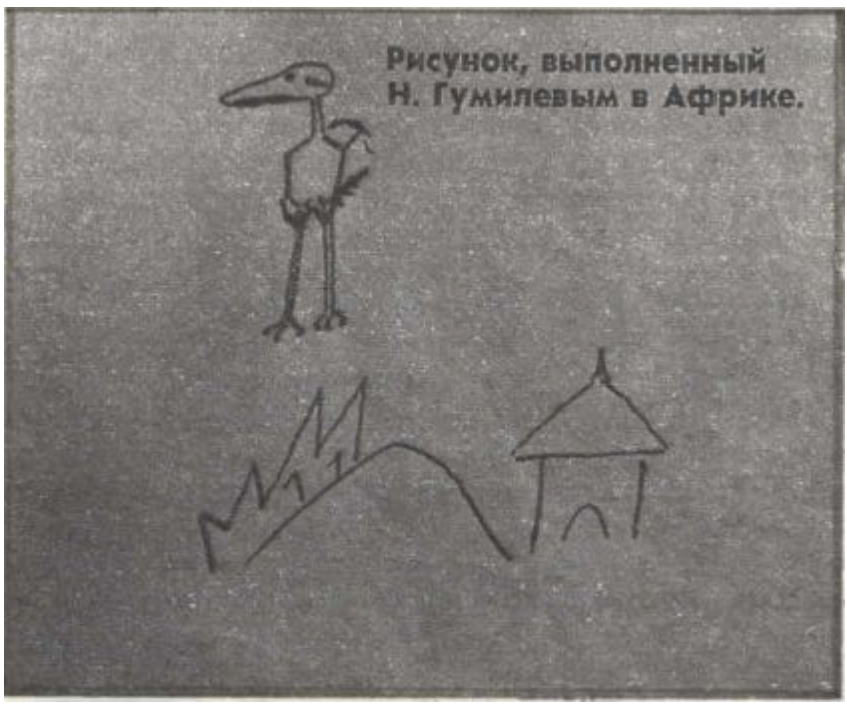
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Так заканчивается дневник путешествий Н. С. Гумилёва в «колдовскую страну» Абиссинию. К сожалению, он сохранился не полностью.

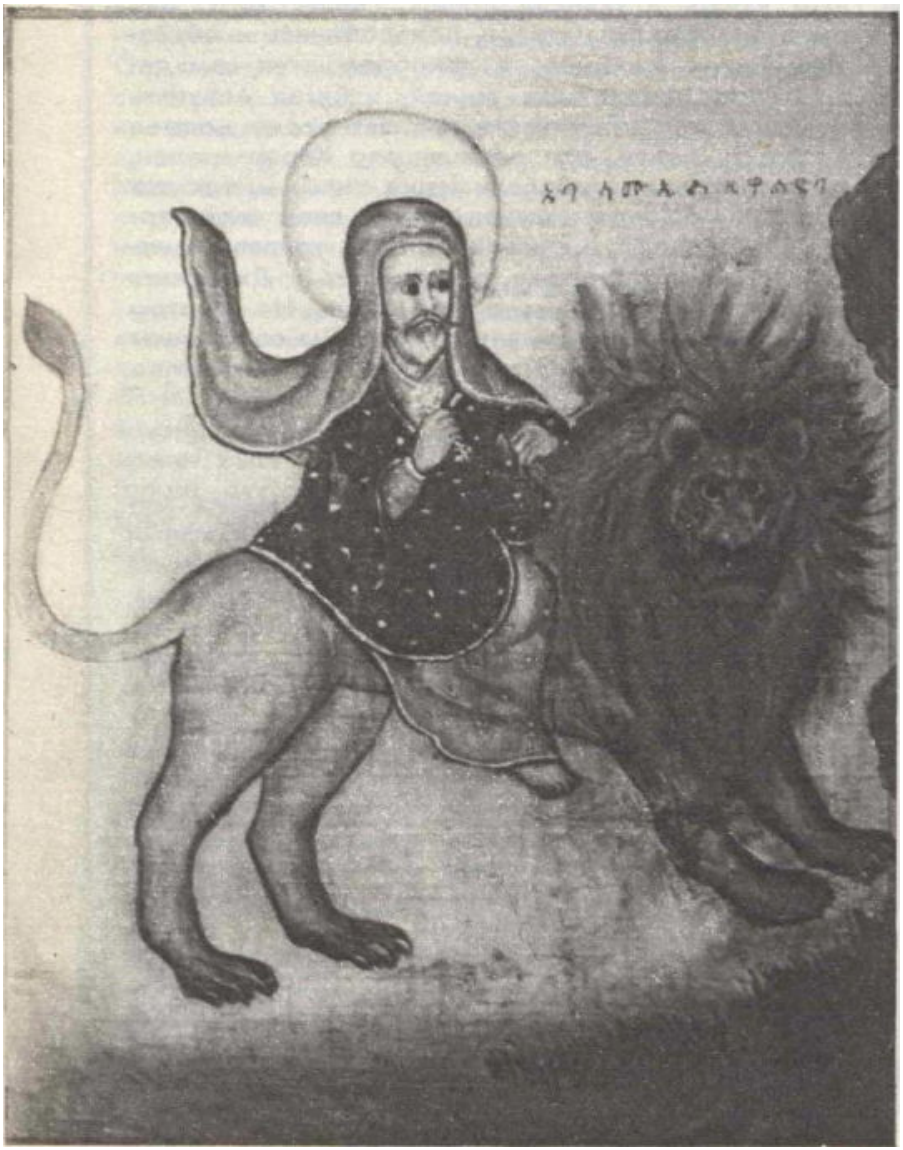
Некоторые слова в рукописи пропущены, неразборчивы, в терминах, именах собственных и географических названиях встречаются архаичные написания, которые при публикации не оговариваются. Мы надеемся, что будут обнаружены и другие страницы дневника, и он будет издан полностью, научно.

Существует и поэтический эквивалент «африканского дневника» Гумилёва. Это стихи, вошедшие в сборник «Шатер». Два из них — «Абиссиния» и «Галла» — наиболее близки опубликованным выше путевым записям прекрасного русского поэта, мужественного человека, исследователя африканского континента.

В. ЕНИШЕРЛОВ



Рисунок, выполненный Н. Гумилёвым в Африке.


አባ ሳሙኤል ዘዋውዳ

Вступленіе.

Сплутенная ревность и тоска,
Облеченная в пламень и дым,
О тебѣ, моя Муза, шепчутъ
Говорятъ въ небесахъ серафимы.

И твое раскрывъ Евангеліе,
Повѣсть жизни узнаетъ и чудесъ,
О непостижимомъ думаетъ ангелъ,
Что приставленъ ко мнѣ, безразсудной.

Про дѣянья свои и фантазіи,
Про звѣриную душу вѣщаетъ
Мнѣ, — деревъ древнихъ Евразіи
Исполинской внимаетъ трубѣ.

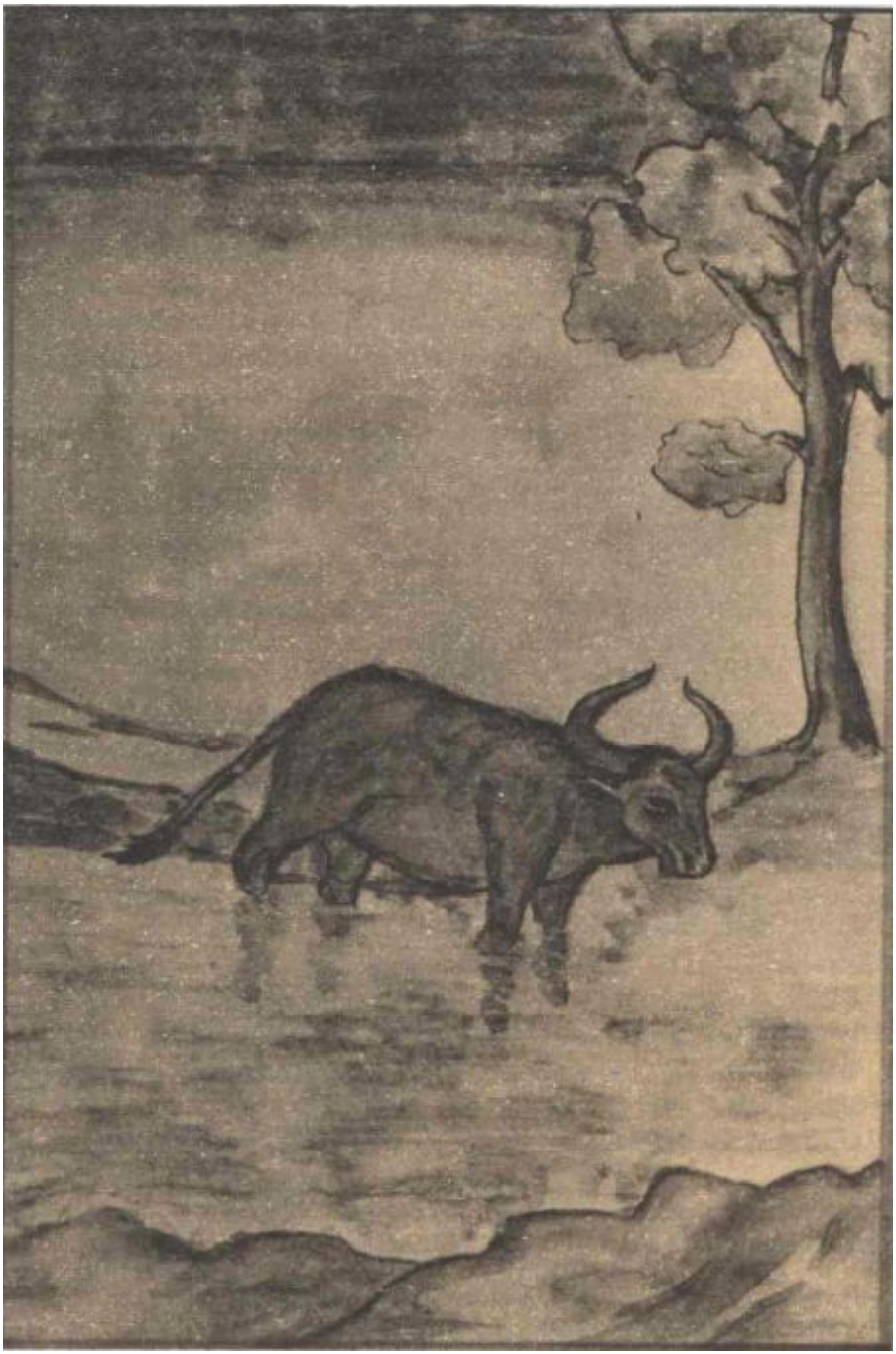
Обрученный тебѣ, я повѣдаю
О вождяхъ въ леопардовыхъ шкурахъ
За тобой и сладкой побѣдой
Увлекающихъ воиновъ хмурыхъ.

О деревнѣ отъ купины древнѣйшей,
Что пылаетъ упрямой бѣдой,
И о мальчикѣ, что проходитъ деревнями
И хвостами ударяетъ въ ребра.

О змѣиномъ гарпунномъ напѣвѣ
Въ мезозойскихъ пальмовыхъ чащахъ
И о дѣвѣ твоей любовницѣ древней,
Звуки-знаменья сладко манящей.

Дай за это дорогу тебѣ торную
Тамъ, гдѣ нѣтъ пути человѣку,
Дай назвать мнѣ имена чудныя
До сихъ поръ непотрогнутую рѣку;

И наглядно смиловѣй, съ которого
Отойду я въ сказочныя дали,
Дай скончаться мнѣ той сивиллою,
Что отъ Эриѳрейскихъ водъ пришла «Марѣ».



«Картины абиссинских мастеров», привезенные Н. Гумилёвым из путешествия, и автограф «Вступления» к сборнику африканских стихотворений Гумилёва «Шатер». (Собрание В. Лукницкой.)

notes

Примечания

1

Нэгадрас — сборщик торговых пошлин.

2

В такой транскрипции пишет Гумилёв слово «дэджазмач», сокращенное «дэджач» — командующий войском у дверей императорского шатра, одно из высших воинских званий.

3

Очень смелый мальчик (фр.).

4

Один из высших титулов при императорском дворе и в провинциях.

5

Дата пропущена Н. Гумилёвым.